



ДЖЕК ЛОНДОН

АЛАЯ ЧУМА



По пустынному берегу бредут юноша и старик. В отдалении юноша замечает ветхие руины, и старик начинает долгий рассказ о величественном городе, чьи башни некогда высились на этом берегу, о могучей цивилизации и о страшной болезни, которая привела мир к падению...



«Снова изобретут порох. Это неизбежно: история повторяется. Люди будут плодиться и воевать».

Джек Лондон

Алая чума

текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=24507924

Алая чума / Джек Лондон: Издательство «Э»; Москва; 2017

ISBN 978-5-699-97088-9

Аннотация

Очень непривычный Джек Лондон, сильный, фантастический и многогранный. Один из первых постапокалиптических рассказов в истории. Старик рассказывает своим внукам-дикарям, не знающим цивилизованной жизни, как люди жили до... До того как мир поразила болезнь – алая чума... А внуки ему не верят. Так как не видели. Зато могут рассказать, кто из знакомых может с первого раза попасть в зайца и кто из них самый сильный. Потому что видели. «Алая чума» – беспощадная, пугающая антиутопия о страшной эпидемии, охватившей человечество и уносящей все новые и новые жертвы.

Содержание

Глава первая	5
Глава вторая	20
Глава третья	32
Глава четвертая	44
Глава пятая	55
Глава шестая	65

Джек Лондон

Алая чума

© Издание на русском языке. Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017

Глава первая

Дорога вела вдоль насыпи проложенной тут когда-то железной дороги. Но уже много лет ни один поезд здесь не проходил. Лес возвышался по обеим сторонам насыпи, перекидываясь через нее зелеными волнами деревьев и кустарника. Тропинка была так узка, что пробраться по ней мог лишь человек или дикое животное. Кое-где кусок заржавленного железа торчал из земли, свидетельствуя о том, что рельсы и шпалы еще сохранились. В одном месте десятидюймовое дерево, прорвавшись на месте скрепа, приподняло кусок рельса. Шпала, скрепленная с рельсом костылем, тоже приподнялась; ее ложе было наполнено песком и гнилыми листьями, и теперь гниющий кусок дерева странно торчал. Какой бы древней ни была эта дорога, было очевидно, что она – одноклейка. Старик и мальчик шли по этой дороге. Они двигались медленно, так как старик был очень стар и шел, тяжело опираясь на палку. Грубая, плотно надвинутая шапка из козьей кожи защищала его голову от солнца, а короткие грязно-белые волосы космами падали на шею. Он смотрел себе под ноги, на тропинку, из-под козырька, замысловато сделанного из большого листа. Его седая борода, такая же грязная, как и волосы, спускалась до самого пояса – всклоченная и запутанная. На плечах висела простая грязная козья шкура. Его руки, морщинистые и высохшие, и множе-

ство рубцов и шрамов говорили о преклонном возрасте и пережитой борьбе со стихией.

Мальчик, шедший впереди, сдерживал порывистость своих движений, чтобы приноровиться к медленной походке старика. На нем также был обтрепанный кусок медвежьей шкуры с отверстием посередине для одевания. Было ему не более двенадцати лет. За ухом у него кокетливо торчал свиной хвост, по-видимому недавно добытый. В одной руке он нес небольшой лук со стрелой, а за спиной висел колчан со стрелами. Из ножен, болтавшихся у него на шее, высывалась изогнутая рукоятка охотничьего ножа. Мальчик был очень смугл и шел мягким, почти кошачьим шагом. Контрастом с его загорелым лицом были его глаза – голубые, вернее – темно-голубые, но острые и сверлящие, как два бурава. Кажалось, они проникают всюду на этой дороге – такой обычной. При ходьбе он нюхал воздух подвижными, трепещущими ноздрями, непрерывно передавая мозгу вести из внешнего мира. Так же как и обоняние, был развит его слух, действовавший совершенно автоматически. Без сознательного усилия он слышал самые слабые звуки в этой ясной тишине, – слышал и распознавал их, – будь это легкий шум ветра в листве, жужжание пчелы и комара или отдаленное ворчание моря, убаюкивавшее его.

Внезапно он напряженно прислушался. Обоняние, зрение и слух одновременно предостерегли его. Его рука осторожно коснулась старика, и оба тотчас же остановились. Впере-

ди, с другой стороны насыпи, послышался хруст, и взгляд мальчика приковался к колеблющимся кустам. Вслед за этим большой серый медведь, гризли, появился на дороге и круто остановился при виде людей. Он не любил их и брезгливо зарычал. Медленно вставил мальчик стрелу в лук и, не спуская глаз с медведя, медленно натянул тетиву. Старик, стоя так же спокойно, смотрел на опасность из-под своего козырька. Несколько секунд продолжалось обоюдное исследование; потом медведь выказал возрастающее раздражение, и мальчик движением головы дал знак старику отойти от тропинки. Он следовал за стариком, держа наготове лук и стрелу. Они подождали, пока хруст в кустах не убедил их, что медведь ушел. Мальчик засмеялся и повернул обратно на тропинку.

– Большой медведь, Грэнсэр¹, – хихикнул он.

Старик покачал головой.

– Их становится все больше и больше с каждым днем, – пожаловался он тонким голосом. – Кто бы подумал, что я увижу времена, когда человеческая жизнь будет в опасности по дороге к Высокому Дому. Когда я был мальчиком, Эдвин, мужчины, женщины и маленькие дети приходили сюда в хорошую погоду из Сан-Франциско десятками тысяч. И здесь не было ни одного медведя. Ни одного! Люди платили деньги, чтобы посмотреть на них в клетках, – так они были редки.

– Что такое деньги, Грэнсэр?

Прежде чем старик ответил, мальчик вспомнил и с тор-

¹ Granser – испорченное Gransir – предок, старик.

жеством вытащил из кармана в медвежьей шкуре потертый, тусклый серебряный доллар. Глаза старика заблестели, когда он поднес монету к своим глазам.

– Я не вижу, – пробормотал он, – посмотри и, если можешь, скажи-ка число, Эдвин.

Мальчик засмеялся.

– Ты такой старый, Грэнсэр, – воскликнул он с восторгом, – а всегда веришь, что эти значки что-то означают!

Старик был раздосадован и поднес монету ближе к глазам.

– Две тысячи двенадцатый, – воскликнул он и быстро забормотал: – Это тот самый год, когда Совет магнатов назначил Моргана Пятого президентом Соединенных Штатов. Монета эта, вероятно, последней чеканки. Ведь Алая смерть пришла в две тысячи тринадцатом году! Боже! Боже! – Подумать только. Шестьдесят лет назад было все это, и я единственный человек, живший в те времена. Где ты нашел ее, Эдвин?

Мальчик, с любопытством слушавший болтовню слабоумного старика, живо ответил:

– Я взял ее у Хоу-Хоу. Он нашел ее, когда пас коз прошлой весной возле Сан-Джозе. Хоу-Хоу сказал – это деньги. Ты не голоден, Грэнсэр?

Старик поднял палку, упавшую в канаву, и торопливо заковылял по тропинке. Его старые глаза жадно блестели.

– Я думаю, Заячья Губа нашел парочку крабов, – бормотал он. – Это хорошая еда, крабы, особенно если у вас нет

зубов, а ваши внуки, любящие своего деда, стараются поймать их для вас. Когда я был мальчиком...

Но Эдвин внезапно остановился, натянув тетиву с приготовленной стрелой. Он стоял у самого края расщелины, образованной подземным потоком, промывшим здесь себе выход. По другую сторону виднелся обвитый вьющимся виноградом кусок ржавого рельса. Вдали, притаившись за кустом, выглядывал дрожащий от страха кролик. Расстояние было не меньше пятидесяти футов, но стрела летела наверняка; и пронзенный кролик, крича от испуга и боли, быстро скользнул в кусты. Мальчик просиял и, перепрыгнув расщелину, помчался к добыче. Напряжение его мышц нашло себе выход в быстрых и ловких движениях. Далеко, в чаще кустов, он схватил раненое животное и, отрубив ему голову на подходящем пне, вернулся к Грэнсэру.

– Кролик хорош, очень хорош, – бормотал старик, – но что касается тонких блюд, я предпочитаю краба. Когда я был мальчиком...

– И чего ты всегда несешь такую чушь! – нетерпеливо перебил Эдвин дальнейшую болтовню.

Он произносил эти слова неправильно, эта неправильность сказывалась в гортанном порывистом говоре и упрощении фраз. Его говор напоминал немного говор старика, и последующий разговор шел на искаженном английском языке.

– Я хочу знать, – продолжал Эдвин, – почему вы называете

краба «тонкое блюдо». Краб есть краб, не так ли? Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь называл его так забавно.

Старик вздохнул, но ничего не ответил, и они шли в полном молчании. Прибой стал внезапно громче при выходе из леса на песчаные дюны, окаймлявшие море. Несколько коз щипали траву на песчаных холмиках под присмотром мальчика в козьей шкуре и собаки, напоминавшей шотландскую овчарку. Смешиваясь с гулом прибоя, слышался непрерывный лай или рев, несшийся из-за кучи разбитых камней за сотню ярдов от берега. Это огромные нерпы дрались и воевали друг с другом за место на солнце. Невдалеке поднимался дым от костра, разведенного третьим мальчиком. Возле него сидело несколько волкодавов, точно таких же, как собака, стерегшая стадо.

Старик ускорил шаги и, сильно пыхтя, подошел к огню.

– Ракушки! – бормотал он в восторге. – Ракушки! А разве это не краб? Мой, мой! Вы, мальчики, так добры к своему старому деду.

Хоу-Хоу был приблизительно одного возраста с Эдвином; он ослабился.

– Бери сколько хочешь, Грэнсэр. Я поймал четырех.

Нетерпение параличного старика было достойно жалости. Быстро опустившись на песок, насколько позволяли ему его онемевшие члены, он схватил большую раковину прямо с углей. В огне скорлупа отпала, и ее мясо лососинового цвета было совершенно готово. С дрожащей поспешностью он схва-

тил кусок и сунул его в рот. Но кусок был горяч, и он с той же поспешностью выплюнул его. Старик кашлял от боли, и слезы текли по его щекам.

Но мальчики, как истые дикари, обладали жестоким юмором варвара. Они принялись громко смеяться, находя это зрелище весьма забавным. Хоу-Хоу стал танцевать вокруг костра, а Эдвин катался по земле от удовольствия. И мальчик, пасший коз, прибежал присоединиться к их веселью.

– Остуди их, Эдвин, остуди их, – умолял старик, огорченный, не пытаясь вытереть слез, бежавших по его щекам. – И краба тоже, Эдвин. Ведь вы знаете, что ваш дед любит крабов.

Из огня послышалось шипение от лопнувших раковин, выпустивших свой сок. Это были большие ракообразные рыбы, от трех до шести дюймов в длину. Мальчики вытащили их палками из углей и положили остудить на большие куски дерева.

– Когда я был мальчиком, мы никогда не смеялись над старшими; мы уважали их, – сказал Грэнсэр.

Мальчики не обратили внимания на это замечание, и Грэнсэр продолжал изливать потоки жалоб, выражая свое недовольство. Но на этот раз он был осторожней и не сжег себе рта. Все принялись за еду, хватая куски руками, громко чавкая и сопя. Третий мальчик – Заячья Губа – насыпал горсть песка в раковину, которую ел старик; и когда песок захрустел между его десен, поднялся снова громкий смех. Не

подозревая, что с ним сыграли шутку, он кашлял и плевался до тех пор, пока Эдвин, сжалившись, не принес ему в тыкве воды прополоскать рот.

– Где же крабы, Хоу-Хоу? – спросил Эдвин. – Теперь Грэнсэр хочет закуски.

Глаза старика снова жадно блеснули, когда он получил большого краба. Это была целая скорлупа, но все мясо было вынуто. Трясущимися руками и дрожа от предвкушения наслаждения, старик отломил ногу краба и нашел ее совершенно пустой.

– А где же крабы, Хоу-Хоу? – захныкал он. – Где же они?

– Я пошутил, Грэнсэр. Это не крабы. Я не нашел ни одного.

Мальчики были в восторге, видя разочарование старика и слезы, капающие из его глаз. Потом незаметно Хоу-Хоу положил в пустую скорлупу только что испеченного краба. Над мясом поднималось маленькое ароматное облачко пара. Это заставило старика принюхаться, и он заглянул внутрь скорлупы. Переход от горя к радости был мгновенен. Он сопел, пыхтел и ворчал от восторга, принимаясь за еду. Для мальчиков это было привычное зрелище, так же как невнятные восклицания, которых они не понимали.

– Майонез! Подумайте только – майонез! Шестьдесят лет прошло с тех пор, как был сделан последний! Два поколения – и нет даже помину о нем. А в те дни в каждом ресторане можно было получить краба.

Пресытившись, он вздохнул и, вытерев руки о свои голые колени, стал смотреть на море. Утолив голод, он предался воспоминаниям:

– Подумать только! Я видел этот берег, весь усеянный мужчинами, женщинами и детьми в ясное воскресное утро. Тогда ни один медведь не угрожал. А здесь, на холме, был большой ресторан, где вы могли получить все, чего душе угодно. Четыре миллиона людей жили тогда в Сан-Франциско. А теперь-то во всей области нет и сорока человек. А сколько пароходов приходило и уходило через Золотые Ворота! А воздушные корабли – дирижабли и аэропланы! Делали они по двести миль в час. Это был тот минимум, который требовался по договорам с компаниями Нью-Йорка и Сан-Франциско. Был здесь один парень француз, – я забываю его имя, – который едва не достиг трехсот. Дело было рискованное, очень рискованное для предусмотрительных людей, но он был на верном пути и добился бы своего, если бы не Великая чума. Когда я был мальчиком, жили люди, помнившие появление первых аэропланов. А теперь, шестьдесят лет назад, мне пришлось увидеть последний.

Старик продолжал разглагольствовать, не замечаемый мальчиками; они давно привыкли к его болтовне, и в их словаре недоставало многих слов, употребляемых им. Было заметно, что в его странных речах как будто возрождается старый английский язык. Когда же он обращался к мальчикам, его речь становилась снова неуклюжей и простой.

– Но в те времена не было столько крабов, – продолжал старик. – Они считались деликатесами, и их сезон продолжался не больше месяца. А теперь крабы доступны круглый год. Подумать – ловить сколько угодно крабов в какое угодно время на берегу Высокого Дома!

Внезапное смятение среди коз подняло мальчиков на ноги. Собаки, лежавшие у огня, бросились на помощь своему товарищу, стерегшему стадо, а козы сбились в кучу под защиту человека. С полдюжины волков, худых и серых, бродили вокруг песчаных холмиков, скаля зубы на ощетинившихся собак. Пущенная Эдвином стрела упала слишком близко. Заячья Губа пращей – подобной праще Давида в его единоборстве с Голиафом – бросил камень, просвистевший в воздухе. Он упал в стаю волков, и они скрылись в темную чащу эвкалиптового леса. Мальчики рассмеялись и снова улеглись на песок, в то время как Грэнсэр тяжело вздыхал. Он поел слишком сытно и продолжал бормотать.

– Преходящие мысли исчезают, словно пена, – процитировал он. – Да, все это – пена и все бrenно. Вся человеческая работа на земле тоже не что иное, как пена. Человек приручил животных, истребил хищников и очистил землю от диких растений. Но он исчез, и первобытная жизнь вернулась снова, сметая всю работу человека, – леса заглушили его поля, хищники напали на его стада, и теперь волки рыщут на берегу Высокого Дома. – Он был в ужасе от этой мысли. – Там, где четыре миллиона людей жили счастливые,

ныне бродят дикие волки, и наше одичавшее потомство защищается доисторическим оружием от своих свирепых врагов. Подумать только! И все это – Алая смерть.

Эти последние слова привлекли внимание Заячьей Губы.

– Он всегда так говорит, – обратился он к Эдвину. – Что такое алый?

– Алость клена потрясает меня, словно звук охотничьего рога, – снова процитировал старик.

– Это все равно что красный, – ответил Эдвин. – Ты не знаешь этого потому, что приходишь из рода Шоферов. Они никогда ничего не знали. Никто из них. Алый и есть красный – я знаю это.

– Но красный есть красный, не правда ли? – проворчал Заячья Губа. – Что тут хорошего называть петуха алым?.. Грэнсэр, почему ты всегда говоришь слова, которых никто не понимает? – спросил он. – Алый ничего не значит, а красный есть красный. Почему же ты не говоришь «красный»?

– Красный – это не совсем верно, – был ответ. – Чума была алой. Все лицо и тело становились алыми – в течение одного часа. Разве я не знаю? Разве я недостаточно видел все это? И я говорю вам, что она была алой, потому что – да, потому что она была алой. Другого слова нет для нее.

– Красное для меня достаточно хорошо, – настойчиво проворчал Заячья Губа. – Мой отец называет красное красным, а он-то кое-что знает. Он говорит, что все умерли от Красной смерти.

– Твой отец простой человек и произошел от простого человека, – горячо возразил Грэнсэр. – Разве я не знаю, от кого Шоферы произошли? Твой дед был шофером, без образования. Он работал на других. Но твоя бабушка была хорошего происхождения, только дети не пошли в нее. Разве я не помню, когда я встретил их ловящими рыбу у Темескальского озера?

– Что такое образование? – спросил Эдвин.

– Называть красное алым, – усмехнулся Заячья Губа и снова стал нападать на Грэнсэра. – Мой отец говорил мне – а он слышал от своего отца, – что твоя жена была Санта-Розана. Он говорил – перед Красной смертью она была кухаркой, хотя я не знаю, что такое кухарка. Скажи-ка мне, Эдвин.

Но Эдвин в недоумении покачал головой.

– Да, верно, она была прислугой, – признал Грэнсэр, – но она была хорошая женщина; твоя мать была ее дочерью, Заячья Губа. После чумы осталось очень мало женщин, и я мог взять в жены только ее, хотя она и была кухаркой, как ее называет твой отец. Но нехорошо так говорить о своих предках.

– Отец говорит, что жена первого Шофера была леди.

– Что такое леди? – спросил Хоу-Хоу.

– Леди – жена Шофера, – был быстрый ответ Заячьей Губы.

– Первого Шофера звали Биллом; он был простой парень, как я говорил вам раньше, – объяснял старик, – но его жена

была леди – настоящая леди. До Алой смерти она была женой Ван-Вардена, председателя Совета промышленных магнатов; он был один из дюжины управлявших Америкой. Он был миллиардер, восемьсот миллионов долларов – таких вот монет, как в твоём кармане, Эдвин. Но пришла Алая смерть, и его жена стала женою Билла, первого Шофера. Он ее бил. Я сам видел это.

Хоу-Хоу, лежа на животе, лениво роясь в песке, вдруг вскрикнул и, осмотрев ноготь, а затем ямку, которую он вырыл, стал быстро разрывать землю. Оба мальчика присоединились к нему и начали копать вместе с ним, пока не обнажились три скелета. Два казались взрослыми, а третий – подростком. Старик тоже подполз посмотреть на находку.

– Жертвы чумы, – проговорил он. – Последние дни они умирали повсюду. Это, вероятно, целая семья, бежавшая от заразы и погибшая здесь, на берегу Высокого Дома. Они... Что ты делаешь?

Этот вопрос был в ужасе задан Эдвину, который, вытащив охотничий нож, принялся выламывать зубы в одном черепе.

– Нанижу их, – был ответ.

Трое мальчиков принялись с шумом за дело, в то время как Грэнсэр разговаривал сам с собой:

– Вы настоящие дикари. Вот уж появился обычай носить человеческие зубы. В следующем поколении вы просверлите себе носы и уши и будете носить украшения из кожи и костей. Я знаю. Человечество обречено опускаться все глуб-

же и глубже в первобытную тьму и снова начать свою кровавую погоню за цивилизацией. Когда мы размножимся так, что нам станет тесно, мы начнем убивать друг друга. А потом, я думаю, вы будете носить вокруг талии человеческие скальпы так же просто, как ты, Эдвин, самый благоразумный из моих внуков, смастерил вот эту цепочку. Брось ее.

– Какой шум поднимает этот старый гусак, – заметил Заячья Губа, вытащив все зубы и принимаясь за дележ.

Они были очень быстры и резки в своих движениях, и в моменты горячего спора при дележе они обменивались фразами, походившими на рычание. Они перебрасывались короткими односложными восклицаниями, и их разговор был сплошной тарабарщиной. Были намеки на грамматические конструкции, свойственные более высокой культуре. Даже речь Грэнсэра была настолько искажена, что, если бы ее привести в точности, она была бы непонятна читателю. Но таким языком он говорил с мальчиками. Когда же он болтал сам с собой, его говор постепенно превращался в чисто английскую речь. Фразы становились длинней, ритмичней и даже – литературными.

– Расскажи нам о Красной смерти, Грэнсэр, – попросил Заячья Губа, когда дележ зубов окончился.

– Алой смерти, – поправил Эдвин.

– Только не рассказывай нам так смешно, – продолжал Заячья Губа. – Рассказывай понятно, Грэнсэр, как умеют рассказывать Санта-Розана. Другие Санта-Розана не говорят

так, как ты.

Глава вторая

Старик был доволен этим предложением. Он прочистил горло и начал:

– Двадцать или тридцать лет назад мой рассказ был в большом почете. Но теперь никто не интересуется...

– Опять начинается! – горячо воскликнул Заячья Губа. – Пропускай ерунду и говори понятно. Что такое интересуется? Ты говоришь, как ребенок, который не знает, что говорит.

– Оставь его в покое, – сказал Эдвин, – или он опять взбеленится и не захочет рассказывать. Можно пропускать ерунду и слушать только то, что нам понятно.

– Продолжай, Грэнсэр, – поощрил Хоу Хоу.

Старик снова начал ворчать о неуважении к старшим и возврате от высшей культуры к былой жестокости дикарей. Рассказ начался.

– В те дни было много народу на свете; в одном Сан-Франциско – четыре миллиона.

– Что такое миллион? – перебил Эдвин.

Грэнсэр посмотрел на него с сожалением:

– Я знаю, вы можете считать только до десяти, но я объясню вам. Протяните ваши руки. На обеих руках у тебя десять пальцев. Хорошо. Я беру эту горсточку песку – держи ее, Хоу-Хоу. – Он насыпал песок мальчику на ладонь и про-

должал: – Теперь эти крупинки песка лежат против пальцев Эдвина. Я прибавлю другую горсть. Это еще десять пальцев. Я прибавлю еще, еще и еще, пока не станет столько горстей, сколько у Эдвина пальцев. Это составляет одну сотню. Запомните это слово – одна сотня. Теперь я кладу этот гольш на руку Заячьей Губы. Он лежит перед десятью горстями песка, или десятью десятками пальцев, или перед сотней пальцев. Я кладу десять гольшей; это составляет тысячу пальцев. Я беру раковину, она лежит перед десятью гольшами, или сотней горстей песку, или тысячью пальцев... – И так, с большим трудом и не уставая повторять одно и то же, он старался дать им примитивное представление о числах. По мере того как числа росли, он собирал разные предметы и клал их на руки. Для символизирования очень больших чисел он взял кусочек дерева; и, наконец, для миллиона были взяты зубы скелетов, а для миллиарда – скорлупа крабов. Но здесь он остановился, так как мальчики стали выказывать утомление.

– Итак, в Сан-Франциско – четыре миллиона людей – четыре зуба.

Глаза мальчиков перебегали с предмета на предмет и с ладони на ладонь, с камешков на песок и на пальцы Эдвина, силясь представить себе непостижимые числа.

– Это было целое сборище людей, Грэнсэр? – рискнул наконец Эдвин.

– Как песок здесь, на берегу, как вот этот песок, каждая

крупинка песка – мужчина, женщина или ребенок. Да, мальчишки, все эти люди жили как раз здесь, в Сан-Франциско. Иногда весь этот народ приходил сюда, на берег, – больше людей, чем здесь крупинок песка. Больше, больше, больше! А Сан-Франциско был прекрасный город. И возле залива – где мы жили в прошлом году – было еще больше людей. С самого Ричмонда – равнины и холмы, вся дорога вокруг Сан-Леандро – один большой город с семью миллионами населения. Вы понимаете, семь зубов – вот это семь миллионов.

Снова глаза мальчиков скользнули от пальцев Эдвина к зубам на бревне.

– Весь мир был населен людьми. Перепись две тысячи девятого года показала восемь биллионов человек – восемь раковин, да, восемь биллионов. Человек знал тогда больше о добывании пищи. Это было не так, как сейчас. И пищи было больше, и больше народу. В тысяча восьмисотом году в одной Европе жило сто семьдесят миллионов. Сто лет спустя – горсть песка, Хоу-Хоу, – сто лет спустя, в тысяча девятисотом, было уже пятьсот миллионов – пять горстей песка и этот один зуб, Хоу-Хоу. Это доказывает, как легко было добывать себе пищу и как люди быстро размножались. А в двухтысячном году в Европе было тысяча пятьсот миллионов людей. И так же было во всем остальном мире. Восемь скорлуп – восемь миллионов человек жили на земле, когда пришла Алая смерть.

Я был молодым человеком, когда началась чума, – мне бы-

ло двадцать семь лет; и я жил на другой стороне Сан-Францисского залива, в Берклее. Ты помнишь, Эдвин, большие каменные дома при спуске с холмов из Контра-Коста. Вот я жил в таких каменных домах, в больших каменных домах. Я был профессором английской литературы.

Многое из всего этого было мальчикам недоступно, но они старались хоть смутно понять этот рассказ о прошлом.

– Для чего были эти дома? – спросил Заячья Губа.

– Ты помнишь, как твой отец учил тебя плавать? – Мальчик кивнул головой. – Хорошо, в Калифорнийском университете – так назывались наши дома – мы учили юношей и девушек думать – точь-в-точь как я показывал вам песком, гольшами и раковинами, сколько человек жило в те дни. Молодые люди, которых мы учили, назывались студентами. У нас были большие комнаты, где мы занимались. Я говорил им – сорока или пятидесяти студентам сразу, – вот как я объясняю вам сейчас. Рассказывал им о книгах, написанных другими людьми еще до того, как они появились на свет, или при их жизни.

– Это все, что вы делали, – только говорили, говорили и говорили? – спросил Хоу-Хоу. – А кто охотился для вас, доил коз и ловил рыбу?

– Разумный вопрос, Хоу-Хоу, разумный вопрос. Как я уже вам сказал, в те дни добывать пищу было очень легко. Мы были очень умны. Несколько человек добывало пищу для многих людей. А остальные занимались другими дела-

ми. Как вы сказали – я говорил. Я говорил все время, и за это я получал пищу – много чудесной пищи, какую я не пробовал шестьдесят лет, и уже никогда мне не придется попробовать. Иногда я думаю, что самое удивительное произведение нашей цивилизации была пища – ее невероятное изобилие, бесконечное разнообразие и удивительная тонкость. О, мои внуки, вот это была жизнь в те дни, когда мы имели такие замечательные вещи для еды.

Это было уже недоступно мальчикам, и все, что он ни говорил, принималось ими за старческий бред.

– Те, кто нам доставляли пищу, назывались «свободными людьми». Но эта была шутка. Нам, правящему классу, принадлежала вся земля, все машины, фабрики – все. А они были наши рабы. Мы забирали все добытое ими, оставляя им только немного, для того чтобы они могли работать и доставлять нам еще больше продуктов.

– Я пошел бы в лес и там добывал для себя пищу, – заявил Заячья Губа, – и если бы кто-нибудь захотел отнять ее у меня, я бы убил его.

Старик засмеялся:

– Разве я не говорил, что нам, господствующему классу, принадлежали все земли, леса и все, все? Того, кто не захотел бы доставлять нам пищу, мы наказали бы или обрекли на смерть. И очень немного находилось таких смельчаков. Остальные предпочитали работать на нас и доставлять нам тысячи – одна раковина, Хоу-Хоу, – тысячи удовольствий и

наслаждений. В те дни я был профессором Смитом – профессор Джемс Говард Смит. Я был очень популярен тогда, то есть молодые люди любили слушать меня, когда я рассказывал им о книгах, написанных другими людьми.

Я был очень счастлив и мог есть разные замечательные вещи. А мои руки были мягки и нежны, потому что я никогда ими не работал. Я одевался в тончайшую одежду и всегда был чист. – Он с отвращением посмотрел на свою грязную козью шкуру. – Мы никогда не носили такой одежды. Даже наши слуги были одеты лучше. И мы были гораздо чище. Мы мыли лицо и руки очень часто, каждый день. Вы, мальчики, моетесь, только когда упадете в воду или плаваете.

– И ты также, Грэнсэр, – возразил Хоу Хоу.

– Я знаю, я знаю. Я – несчастный, грязный старик. Но времена изменились. Никто не моется теперь, и это уже не считается постыдным. Уж много лет, как я не видал куска мыла. Вы не знаете, что такое мыло, но я не буду вам объяснять; ведь я рассказываю вам об Алой смерти. Вы знаете, что такое болезнь. Многие болезни приносятся микробами. Запомните это слово – микроб. Они похожи на древесных клещей, каких вы находите на собаках весной, когда они прибегают из лесу; но микробы гораздо меньше; они такие маленькие, что их нельзя видеть.

Хоу-Хоу рассмеялся:

– Ты странный человек, Грэнсэр, – говорить о таких вещах, каких не можешь видеть. Если ты не можешь их видеть,

то откуда ты знаешь, что они существуют? Вот это я хотел бы знать. Как ты можешь знать о том, чего ты не можешь видеть?

– Хороший вопрос, Хоу-Хоу, очень хороший вопрос. Но мы их видели – некоторых из них. У нас было то, что мы называли микроскопом и ультрамикроскопом²; приложив к ним глаз, мы видели все, но гораздо больше по размерам, чем оно было на самом деле; многих вещей мы не могли рассмотреть без микроскопа. Наши лучшие ультрамикроскопы могли увеличивать микробов в сорок тысяч раз. Раковина – тысяча пальцев Эдвина; возьмите сорок таких раковин, и во столько раз увеличивался микроб, когда мы смотрели на него через микроскоп. Кроме того, пользовались мы еще так называемыми кинофильмами, и благодаря им эти микробы увеличивались еще в тысячи раз. И таким образом мы видели вещи, каких не могли увидеть простым глазом. Возьмите крупинку песка; разломайте ее на десять частей; одну из них на десять, и одну из этих снова на десять, и снова и снова, и делайте так целый день, и, может быть, при заходе солнца вы получите кусочек величиной с микроба.

Мальчики выразили явное недоверие. Хоу-Хоу и Заячья Губа фыркали и насмехались, пока Эдвин не остановил их.

– Древесный клещ высасывает кровь из собаки, а микробы, будучи такими маленькими, проникают прямо в кровь и там размножаются. И наконец появляется целый милли-

² Ультрамикроскоп – сильнейший микроскоп, сверхмикроскоп.

ард – одна раковина, – целый миллиард в одном человеческом теле. Мы называем микробы микроорганизмами. Когда несколько миллионов или миллиардов находятся в человеческом теле, наполняют всю его кровь, оно заболевает. Эти микробы и есть болезнь. Было очень много разных микробов, больше, чем крупного песка на этом берегу. Но мы знали только немногих из них. Микроорганический мир был незримым миром, – мир, которого мы не могли видеть, и поэтому мы очень мало знали о нем. Но все же кое-что мы знали. Мы знали о *Bacillus anthracis*, о *Micrococcus*, о *Bacterium termo*, знали о *Bacterium lactis* – о микробе, что и теперь делает кислым козье молоко, Заячья Губа; о бесчисленных *Schizomycetes* и еще многих других...

Тут старик пустился в подробнейшее перечисление микробов, употребляя необыкновенно длинные бессмысленные фразы и слова. Мальчики смеясь переглядывались друг с другом и, смотря на пустынный океан, совершенно забыли о старике.

– Ну а Алая смерть, Грэнсэр? – вспомнил наконец Эдвин.

Грэнсэр с трудом спустился со своей кафедры в аудитории, где шестьдесят лет назад объяснял своим слушателям другого мира новейшую теорию о бациллах и заболеваниях.

– Да, да, я совсем забыл, Эдвин. Временами воспоминания прошлого одолевают меня, и забываю, что я только грязный старик в козьей шкуре, блуждающий со своими дикими внуками по первобытной пустыне. Преходящие мысли исче-

зают, словно пена, и так же исчезла наша колоссальная прекрасная цивилизация. Я – Грэнсэр, усталый, старый человек. И принадлежу к роду Санта-Розана. И жену я себе взял из этого же рода. Мои дочери и сыновья брали себе супругов в других – Шофера, Сакраменто и Пало-Альто. Ты, Заячья Губа, приходишь от Шофера; ты, Эдвин, – от Сакраменто; а ты, Хоу-Хоу, – от Пало-Альто. Твой род получил свое имя от города, находившегося вблизи большого университета. Он назывался Стэнфордский университет. Да, я теперь вспоминаю – я рассказывал вам об Алой смерти. Но на чем я остановился?

– Ты говорил о микробах, существах, каких ты не можешь видеть и которые делают людей больными, – напомнил ему Эдвин.

– Да, да, на этом месте. Сначала человек не замечает, когда в его тело попадает несколько таких бацилл. Но каждый микроб распадается на два, и они делают это так быстро, что за короткое время их появляется несколько миллионов сразу. Тогда человек заболевает, и его болезнь называется именем микроба, находящегося в нем. Это может быть корь, инфлуэнца, желтая лихорадка; это может быть одна из тысячи тысяч болезней.

Странное дело происходит с этими микробами. В человеческом теле появлялись все новые и новые. Давно-давно, когда на свете жило только несколько человек, было всего несколько болезней. Но по мере их размножения и образо-

вания больших городов появлялись новые болезни, и новые микробы попадали в кровь человека. Несчетное число миллионов и миллиардов человек были убиты ими. И чем теснее жили люди, тем ужасней становилась болезнь. Задолго до моего времени, в Средние века, черная чума прошла по Европе. И появлялась она снова и снова. И свирепствовал тогда туберкулез – всюду, где люди жили скученно. За сотню лет до меня появилась бубонная чума. В Африке была сонная болезнь. Бактериологи находили эти болезни и боролись с ними, как вы, мальчики, отгоняете волков от вашего стада или убиваете moskitov, нападающих на вас. Бактериологи...

– Но кто это такие, Грэнсэр, кого ты так называешь? – перебил Эдвин.

– Ты, Эдвин, пасешь коз. Твое дело следить за козами, и ты знаешь о них очень многое. Бактериолог следит за микробами. Это – его дело, и он знает многое о них. Вот, как я говорил, бактериологи боролись с микробами и истребляли их – иногда. Ужасная болезнь была проказа. За сто лет до моего рождения бактериологи открыли бациллу проказы. Они изучили ее и делали с нее снимки; я видел эти снимки. Но они не сумели найти средства к ее уничтожению. В тысяча восемьсот семьдесят четвертом году появилась моровая язва; она началась в стране, называемой Бразилией, и убила миллионы людей. Бактериологи не только нашли этот микроб, но и истребили его, и моровая язва прекратилась. Они сделали так называемую сыворотку; и, впуская ее в те-

ло человека, убивали этим бациллу, не вредя ему самому. В тысяча девятьсот десятом году появилась миланская проказа. И так же легко была истреблена. Но в тысяча девятьсот сорок седьмом году появилась новая болезнь, еще не виданная доньше. Она поражала грудных детей, – они не могли ни есть, ни двигаться. Бактериологи потратили одиннадцать лет на отыскание этой бациллы.

Но, несмотря на все эти болезни, несмотря на их увеличение, – все больше людей появлялось на свет. Причина этого – легкое добывание пищи. Увеличивающаяся теснота приносила с собой все новые и новые болезни. Были предостережения. Так, Сольдервецкий еще в тысяча девятьсот двадцать девятом году предостерегал против новых болезней, страшней в тысячу раз прежних и убивающих сотни миллионов, даже миллиарды. Но микроорганический мир приберег свою тайну к концу. Тогда знали о существовании этого мира и о возникновении новых полчищ микробов, убивающих людей. Но это было и все. В незримом микроорганическом мире, возможно, существовало бесчисленное количество микробов. Быть может, даже жизнь происходила от них. «Неисчерпаемая возможность», – как говорил Сольдервецкий.

Но на этом месте Заячья Губа с негодованием вскочил со своего места.

– Грэнсэр, – заявил он, – я очень устал от твоей болтовни. Почему ты не рассказываешь об Алой смерти? Если ты не думаешь начинать, так и скажи – мы вернемся обратно к

поселку.

Старик взглянул на него и молча заплакал. Бессильные слезы текли по его щекам, и вся беспомощность его восьмидесяти семи лет выразилась в его печальном взгляде.

– Садись, – посоветовал примирительно Эдвин. – Он сейчас расскажет про Алую смерть, не правда ли, Грэнсэр? Садись, Заячья Губа. Ну, дальше, Грэнсэр.

Глава третья

Старик вытер слезы своими морщинистыми пальцами и начал рассказ дрожащим, прерывистым голосом, окрепшим по мере приближения к самой катастрофе.

– Это было летом две тысячи тринадцатого года, когда пришла чума. Мне было тогда двадцать семь лет, и я прекрасно помню все это. Радио...

Заячья Губа громко выразил свое неудовольствие, и Грэнсэр поторопился поправиться:

– В те дни мы говорили через воздух за тысячи и тысячи миль. И пришло известие о появлении в Нью-Йорке какой-то странной болезни. В этом замечательнейшем городе Америки было тогда семнадцать миллионов населения. Но случаев этой болезни насчитывалось всего несколько, и никто особенно не задумывался над этим; это казалось пустяками. Правда, оказывалось, что умирали поразительно быстро, и первым признаком новой болезни являлось распространение алой сыпи по всему телу и на лице. Не прошло и двадцати четырех часов, как распространился слух о первом случае в Чикаго. В тот же день стало известно, что и в Лондоне, величайшем городе в мире после Чикаго, уже две недели боролись с чумой, запрещая извещать остальной мир.

Дело становилось серьезным, однако мы, в Калифорнии, как и остальные, не беспокоились. Мы были уверены, что

бактериологи сумеют уничтожить новую бациллу, как уничтожали раньше других. Тревожила лишь быстрота, с какой микроб убивал человека, и то, что смерть была неминуема. Никто не выздоравливал. Была у нас старая азиатская холера; вы могли вечером обедать с совершенно здоровым человеком, а на следующее утро, взглянув в окно, увидеть его на дрогах для перевозки покойников. Но эта новая чума убивала быстрее, гораздо быстрее. С момента появления первых признаков человек погибал почти в один час. Некоторые жили несколько часов. Многие умирали через десять – пятнадцать минут.

Сердце начинало усиленно биться, по всему телу распространялся жар, и потом появлялась алая сыпь, покрывавшая – словно лесной пожар – все лицо и тело. Многие не чувствовали жара и сердцебиения, и первое, что они замечали, была алая сыпь. При появлении сыпи обыкновенно начинались судороги. Но они не были особенно продолжительны и сильны. Тот, кто переживал их, становился совершенно спокойным и только чувствовал оцепенение, быстро ползущее с ног по всему телу. Сначала немеют пятки, потом ноги и бедра, и когда онемение достигало сердца – человек умирал. Он не бредил и не спал. Его мысли оставались спокойными и ясными до того самого момента, когда сердце цепенело и останавливалось. Другая странность заключалась в быстроте разложения. Как только человек умирал, тело распадалось на куски, рассыпалось, словно исчезало на ваших же глазах.

Это была одна из причин такого быстрого распространения чумы. Миллиарды бактерий моментально рассеивались в воздухе.

И потому бактериологи имели так мало шансов на победу. Они погибали в своих лабораториях, изучая микроб Алой смерти. Это были герои. Как только они умирали, другие заменяли их. Лондон нашел ее первым. Имя человека, открывшего ее, – Траск; не прошло и тридцати часов, как он был мертв. Тогда во всех лабораториях стали искать средство против этого микроба. Но все было напрасно. Вы понимаете, задача заключалась в том, чтобы найти средство, убивающее микроб, не вредя человеку. Они пытались вводить в человеческий организм другие микробы – врагов чумных...

– Вы ведь не могли видеть этих микробов, Грэнсэр, – возразил Заячья Губа, – а ты говоришь о них, как будто вы их видели, когда на самом деле они – ничто. То, чего вы не видите, не может быть чем-нибудь. Бороться с несуществующими вещами! Они были большие дураки в те времена. Поэтому они и перемерли. Не верю я во весь этот вздор.

Грэнсэр снова заплакал, и Эдвин горячо взял его под свою защиту:

– Подумай, Заячья Губа, ведь и ты веришь в невидимые предметы.

Заячья Губа покачал головой.

– Ты веришь в привидения; ты ведь никогда не видел их.

– А я говорю, что я их видел, когда прошлой зимой ходил

с отцом охотиться на волков.

– Ну, хорошо; ты всегда плюешь, когда переходишь текущую воду, – продолжал Эдвин.

– Это чтоб беды не случилось, – был ответ.

– Ты веришь в несчастье?

– Конечно.

– А ты никогда не видел беды, – закончил Эдвин с торжеством. – Ты, значит, так же глуп, как и Грэнсэр со своими микробами; ты веришь в то, чего не можешь видеть. Продолжай, Грэнсэр.

Заячья Губа, покоровшись метафизическим доводам, замолчал, и старик продолжал свой рассказ. Все чаще и чаще его перебивали споры мальчиков. Иногда они громко высказывали разные предположения и объяснения, стараясь следовать за рассказчиком в неизведанный, исчезнувший мир.

– Алая смерть появилась в Сан-Франциско. Первая смерть обнаружилась в понедельник утром. В четверг в Окленде и Сан-Франциско люди умирали как мухи. Умирили всюду – в постелях, за работой, гуляя по улице. Во вторник я увидел первую смерть – мисс Коллброн, одной из моих слушательниц, сидевшей как раз против меня в моей аудитории. Во время своей лекции я видел ее лицо. Внезапно оно стало алым. Я замолчал и мог только смотреть на нее; чума была среди нас. Все с криком бросились из комнаты, остались только двое. Судороги продолжались всего одну минуту и были очень слабы. Один из студентов достал ей воды. Она

выпила немного и внезапно закричала: «Мои ноги! Я не чувствую их больше». Через минуту она сказала: «У меня нет ног. Я не чувствую своих колен».

Женщина лежала на полу с толстой книгой под головой вместо подушки. И мы ничем не могли ей помочь. Холод и оцепенение ползли с ног к сердцу, и когда достигли его – она умерла. В пятнадцать минут на часах, – я заметил, – она была мертва, здесь, в моей собственной аудитории – мертва. А она была очень красивая, сильная молодая девушка. От появления первых признаков чумы до конца прошло всего пятнадцать минут. Из этого ясно, как молниеносна была Алая смерть.

Я оставался еще несколько минут в своей аудитории с умершей девушкой. Ужас распространился по всему университету, и тысячи студентов покидали свои аудитории и лаборатории. Когда я вышел, чтобы известить ректора, – весь университет был совершенно пуст. Несколько запоздавших спешили по домам. Двое из них бежали.

Ректора Хоуга я застал в его кабинете совершенно одного; он выглядел старым, седым, и все лицо его было в морщинах, чего я прежде никогда не видел. При виде меня он вскочил и скрылся в свой внутренний кабинет, захлопнув за собой дверь; я слышал – он ее запер. Он знал, что я заражен, и крикнул через дверь, чтобы я ушел. Я никогда не забуду того чувства, с каким я шел по длинным коридорам пустынного здания. Я не боялся. Я был заражен и смотрел на себя, как

на мертвеца. Но это был не страх; чувство спокойного смирения было во мне. Все остановилось. Это был словно конец мира для меня – моего мира. Я родился в шуме и гаме университета. Эта карьера была мне предназначена. Мой отец был профессором до меня, и его отец – до него. Полтора века, словно гигантская машина, этот университет неуклонно развивался. И теперь, в один миг, все остановилось. Словно видишь, как умирает священное пламя твоего трижды священного алтаря. Я был потрясен, мне было невыразимо тяжело.

Когда я пришел домой, швейцар при виде меня с криком скрылся. Позвонив, я увидел, что и моя прислуга последовала за ним. В кухне я нашел кухарку, собиравшуюся уходить. Она закричала и, бросив свои вещи, выбежала на улицу, все время крича. Я и сейчас слышу этот крик. Мы не терялись в тот момент, когда нас поражала обыкновенная болезнь. Мы были спокойны и посылали тотчас же за доктором; он знал, что нужно делать. Но тут было иначе. Эта болезнь появлялась внезапно и убивала быстро, без промаха. Когда алая сыпь появлялась на чьем-нибудь лице – этот человек был отмечен смертью. Не выживал никто.

Я был один в своем большом доме. Как я вам уже рассказывал, в то время мы могли говорить друг с другом по проводу или просто через воздух. Прозвонил телефон, и я услышал голос моего брата. Он сказал, что не приходит ко мне из боязни заразиться чумой, а наших двух сестер он оставил в

доме профессора Бэкона. Он советовал мне оставаться дома и ждать, пока не выяснится, заразился я или нет.

Я с этим согласился и остался один в своем доме, в первый раз в жизни попробовав стряпать. Но чума не тронула меня. Благодаря телефону я мог говорить с кем хотел и узнавать все новости. Кроме того, тогда существовали газеты, мне их просовывали через дверь, и таким образом я был в курсе того, что происходило.

В Нью-Йорке и Чикаго царил паника. То же самое творилось и во всех больших городах. Погибла треть нью-йоркской полиции; и начальник и помощник его также были мертвы. Законы и постановления нарушались. Трупы непогребенными валялись на улицах. Железные дороги и пароходства прекратили доставку провизии в города, и толпы голодных грабили склады и магазины. Всюду – пьянство, грабежи и убийства. Люди бежали миллионами из городов. Сперва богатые в своих автомобилях и аэропланах, а за ними вся колоссальная масса жителей, разнося чуму, бежала пешком, голодая и грабя города и села на пути.

Человек, приславший эти новости, – радиотелеграфист, – был один со своими инструментами наверху высокого здания. Оставшееся население, – он исчислял его всего в несколько сот тысяч, – обезумело от страха и алкоголя. Со всех сторон он был окружен бушевавшим огнем. Он был герой – этот человек, оставшийся на своем посту.

Через двадцать четыре часа он сообщил, что больше не

появляются трансатлантические аэропланы – прекратилась связь с Англией. Из Берлина – в Германии – пришло известие об открытии бактериологом Мечниковского института, профессором Гоффмейером, сыворотки против чумы. Это было последним сообщением по сей день, полученным нами в Америке из Европы. Слишком поздно! Пока это открытие стало бы нам известно, прошло бы немало времени. Мы могли только заключить: в Европе произошло то же, что и у нас, и в лучшем случае несколько десятков человек на всем континенте переживет Алую смерть.

Еще несколько дней приходили депеши из Нью-Йорка. Потом и это прекратилось. Человек, посылавший их со своего высокого здания, быть может, погиб от чумы либо в колоссальном пожаре, бушевавшем вокруг него. И то, что происходило в Нью-Йорке, происходило и в других городах. То же самое было и в Сан-Франциско, и Окленде, и Берклее. В четверг люди умирали с необычайной быстротой, и трупы их валялись всюду. В четверг ночью началось паническое бегство в деревни из городов. Вообразите себе, дети мои, поток людей – больший, чем лососей в реке Сакраменто, – обезумев, стремящийся из городов, тщетно пытаясь спастись от вездесущей смерти. Они несли смерть с собой. Даже в аэропланах богачей, летающих в безопасности над горами и пустынями, – даже в них была смерть. Сотни этих аэропланов спасались в Гавайи, но чума была уже всюду. Это мы узнавали из телеграмм, пока не прекратилось сообщение с Сан-

Франциско. Это прекращение связи с остальным миром прямо ошеломляло. Словно мир был вычеркнут, перестал существовать. Шестьдесят лет этот мир не существует для меня. Я знаю – где-то должны быть Нью-Йорк, Европа, Азия, Африка, но оттуда не слышно ни одного слова – ни одного за шестьдесят лет. С приходом Алой смерти мир упал в небытие. Совершенно необратимо. Десять тысяч лет культуры и цивилизации были сметены во мгновение ока, исчезли, словно пена.

Я говорил вам об аэропланах богачей. Они несли с собой чуму и гибли повсюду. Я встретил только одного спасшегося – Мюнджерсона. Впоследствии он стал Санта-Розана и женился на моей старшей дочери. Он пришел к нам через восемь лет после чумы. Ему было девятнадцать лет, и целых двенадцать ему пришлось ждать, прежде чем он женился. Тогда не было незамужних женщин, а некоторые из старших дочерей Санта-Розаны были уже помолвлены. Вот он и должен был ждать, пока моей Мери исполнилось шестнадцать лет. Его сын – Шелковая Лапка – был убит львом в прошлом году. Мюнджерсону было одиннадцать лет во время чумы. Отец его был один из промышленных магнатов, очень богатый, влиятельный человек. На своем аэроплане «Кондор» они прилетели в степи Британской Колумбии, лежащей далеко к северу. Но они потерпели аварию недалеко от горы Шаста. Вы слышали об этой горе; она на Дальнем Севере. Среди них началась чума, и этот мальчик одиннадцати лет

единственный остался в живых. Восемь лет он блуждал один по пустыне, тщетно ища человека. И наконец, подойдя к югу, он нашел нас, Санта-Розана.

Но я очень забежал вперед. Когда началось бегство из городов вокруг Сан-Франциско и телефон еще работал, я разговаривал с братом. Я сказал ему, что это бегство – сущее безумство, симптомов чумы у меня нет – и нам и нашим близким необходимо скрыться в какое-нибудь безопасное место. Мы остановились на химическом корпусе университета и решили, запасаясь провизией, силой не пускать посторонних в наше убежище.

Условившись обо всем, брат попросил меня остаться дома еще на сутки – убедиться, что я не заражен чумой. Я согласился, и он обещал прийти ко мне на следующий день. Мы говорили о запасах провизии и подробностях защиты в химическом корпусе, пока телефон вдруг не перестал работать. Он замер в середине нашего разговора.

В этот вечер не было электричества, и я оставался в полной темноте, один в своем доме. Газеты больше не выходили, и я не имел никаких сведений извне. Я слышал шум толпы и пушечные выстрелы. В окно я мог видеть зарево пожара в стороне Окленда. Это была страшная ночь. Я не сомкнул глаз. Какой-то человек – почему и как, я не знал, – был убит против моего дома. Я слышал частые выстрелы автоматического пистолета, и через несколько минут несчастное раненое существо подползло к моей двери, крича и умо-

ляя о помощи. Вооружившись двумя пистолетами, я пошел к нему. При свете спички я увидел, что, умирая от ран, он болен Алой чумой. Я захлопнул дверь и слушал его крики и стоны еще полчаса возле самой двери.

Утром пришел ко мне брат. Я собирал в мешок самые ценные вещи, какие предполагал взять с собой; но, увидев его лицо, я понял, что ему уже не нужно скрываться со мной. У него была чума. Он протянул руку, но я поспешно отскочил.

«Посмотри в зеркало», – сказал я.

Он посмотрел и при виде своего алого лица бессильно упал на стул.

«Боже мой, – проговорил он. – Я заразился ею. Не приходи ко мне – я мертвый человек».

У него начались судороги. Он умирал два часа; до последней минуты был в сознании, говорил о возрастающем холоде и онемении в ступнях, икрах, бедрах, пока оно не достигло сердца. Это был конец.

Таков был путь Алой смерти. Я взял свой мешок и бежал. Вид у меня был страшен. Всюду я спотыкался о тела; некоторые были еще живы. И вы видели, как люди боролись с оковывавшей их смертью. Берклея был объят пламенем, а Окленд и Сан-Франциско пылали в страшном пожаре. Небо застлалось дымом, и полдень казался туманным рассветом. В порывистом ветре солнце светило тусклым безжизненно-красным шаром. Да, дети мои, это был словно конец – последние дни конца мира.

Всюду застыли брошенные автомобили, говорящие о том, что запасы бензина в гаражах иссякли. Я помню один такой автомобиль. Мужчина и женщина лежали мертвыми на сиденьях, а на тротуаре валялись две женщины с ребенком. Странное и ужасное зрелище представлялось на каждом шагу. Люди скользили тихо и таинственно, словно привидения. Бледные женщины с детьми на руках; отцы, ведущие детей за руки; поодиночке, парами, семьями – все бежали из города смерти. Некоторые тащили запасы провизии, другие – вещи и одеяла, многие совсем ничего не несли.

Недалеко была бакалейная лавка – там продавали провизию. Ее хозяин – я хорошо его знал – спокойный, трезвый, но глупый и упрямый человек, охранял ее. Окна и двери были разбиты, а он, спрятавшись за прилавок, разряжал свой пистолет в каждого, подходившего к его двери. У входа лежало несколько трупов убитых им в течение дня. Издали я увидел, как один из грабителей, проломив окно в соседнем магазине, поджигал его. Я никого не призвал на помощь. Время для этого прошло. Цивилизация рушилась, и каждый заботился о себе.

Глава четвертая

Я поспешно пошел дальше и на первом же углу увидел новую драму. Двое парней напали на мужчину и женщину с двумя детьми и грабили их. Я знал этого человека, хотя никогда не был с ним знаком. Он был поэт, перед которым я давно преклонялся. В тот момент, когда я хотел прийти ему на помощь, раздался выстрел, и он упал. Женщина закричала и свалилась под ударом кулака. Я громко крикнул, но они направили на меня пистолеты, и мне пришлось скрыться за угол. Здесь путь преграждался надвигающимся пожаром. С обеих сторон горели здания, и улица была полна дыма и огня. Откуда-то из мрака слышался голос женщины, дико зовущей на помощь. Однако я не пошел к ней. Человеческое сердце становилось железным среди всего этого ужаса, и каждый слышал слишком много призывов о помощи.

Когда я вернулся обратно, грабителей уже не было... Поэт и его жена лежали мертвые на тротуаре. Дети исчезли, куда — я не знал. Но я понял, почему люди, попадавшие мне навстречу, скользили так тихо, с бледными лицами. Среди нашей цивилизации, в наших трущобах мы вскормили варваров, дикарей. И теперь, в момент нашего смятения, они набросились на нас, словно разъяренные звери, и истребляли нас. Но они погибали вместе с нами. Возбуждаемые алкоголем, они совершали тысячи преступлений, в страшном безу-

мии убивая друг друга. Я увидел отдельную группу рабочих, покидавшую город, со своими женами и детьми. Они несли на носилках старых и больных и тащили повозки с провизией. Это было великолепное зрелище, когда они шли вниз по улице, окутанные дымом. Они сначала хотели убить меня, когда я попался на пути, но, пройдя, один из них в оправдание крикнул, что они убивают всех грабителей, попадающихся им на дороге, и соединились вместе для защиты против них.

Тут я увидел впервые то, что вскоре видел так часто. На лице одного из уходивших появились верные признаки чумы. Все тотчас же от него отскочили, и он остался один, не пытаясь никого удержать. Одна женщина, по-видимому его жена, хотела сопровождать его; с ней был маленький мальчик. Но муж сурово приказал ей отойти, а остальные, протягивая руки, убеждали ее вернуться. Я видел все это, и я видел также человека с алым пламенем на лице, стоявшего в дверях на другой стороне улицы. Я слышал выстрел его пистолета и видел, как он рухнул на тротуар.

Дважды возвращаясь из-за бушевавшего пожара, мне все же удалось пройти к университету. Проходя пустырем, примыкающим к университету, я подошел к группе профессоров, шедших также под защиту химического корпуса. Это были все семейные люди со своими семьями и прислугой. Профессор Бэдминтон поклонился мне, но я едва его узнал. По-видимому, ему пришлось пробиваться через огонь, и

пламя спалило его бороду; он был грязный и весь в крови, с обвязанной головой. Он рассказал мне, что его избили грабители, а брата убили предыдущей ночью, когда он защищал свою квартиру от грабежа.

Идя со мной, он вдруг указал на лицо миссис Суинтон. Ошибиться было нельзя: среди нас появилась Алая чума. Женщины с криком разбежались, и ее двое детей, шедшие с няней, тоже убежали вслед за остальными. Только муж ее, доктор Суинтон, остался с ней.

«Идите, Смит, – сказал он мне, – присмотрите только за детьми. Я останусь с женой. Я знаю – она погибла, но я не могу оставить ее. После, если спасусь, я приду в химический корпус, а вы ждите, чтобы впустить меня».

Я оставил его наблюдавшим последние минуты своей жены и побежал догонять остальных. Мы были последние, пропущенные в химический корпус. И своими автоматическими пистолетами мы защищали свое убежище. По нашему плану, здесь должно было поместиться человек шестьдесят, но каждый привел с собою родственников и друзей, и в результате оказалось более четырехсот человек. Химический корпус стоял особняком, вне опасности загореться от страшных пожаров, пылавших во всем городе.

Провизии было много, и продовольственный комитет решил ежедневно выдавать паек каждой семье. Были выбраны члены комитета, и мы выказали большую организованность. Я был в комитете обороны, хотя в первый день не видно бы-

ло вблизи ни одного грабителя. Мы могли их видеть издали, и по дыму их костров знали, что они расположились на другом конце пустыря. Часто слышались их пьяные песни и непристойная брань. В то время как мир рушился вокруг них и весь воздух был наполнен дымом его пожара, эти низкие твари дали волю своему зверству и дрались, пили и умирали. А в конце концов, какое это имело значение? Все умирали – хороший и плохой, сильный и слабый, тот, кто хотел жить, и тот, кто проклинал жизнь. Они исчезли. И все исчезло.

Когда спустя двадцать четыре часа ни один из нас не заболел, мы стали поздравлять друг друга. Вы видели большие железные трубы, по которым в те времена доставлялась вода всем горожанам. И вот, боясь, что огонь взорвет эти трубы и резервуары опустеют, – мы решили рыть колодец. Сорвав цемент, которым был залит центральный двор химического корпуса, мы принялись за работу. Среди нас было много молодых людей, и мы работали целую ночь и целый день. Наши опасения оправдались. За три часа до окончания работы в трубах не оказалось воды.

Прошли вторые сутки; смерть не появлялась среди нас, и мы надеялись, что все спасены. Но тогда не знали того, что я узнал после: инкубационный период чумы продолжается несколько дней. Мы думали, что, убивая так молниеносно, она столь же быстро и проявляется. Таким образом, когда и второй день прошел благополучно, мы были уверены, что спаслись. Но третий день разочаровал нас. Я никогда не за-

буду предыдущей ночи. Мне была поручена ночная смена – от восьми до полуночи, – и с крыши здания я следил за славными деяниями толпы. Все небо было освещено страшным заревом; было так светло, что можно было прочесть мельчайшую печать. Казалось, что весь мир объят пламенем. Сан-Франциско пылал, словно масса действующих вулканов выбрасывала огонь и дым. Горело всюду – Окленд, Сан-Леандро, Гэйуард; и к северу до самого мыса Ричмонда пылали пожары. Это было жуткое зрелище. Цивилизация, внуки мои, рушилась в огне и дыхании смерти. Этой ночью в десять часов взорвались пороховые погреба на мысе Пиноль. Сотрясение было столь сильным, что огромное здание пошатнулось, словно от землетрясения, и все стекла разлетелись вдребезги. И мне пришлось спуститься с крыши; я ходил по длинным коридорам, из комнаты в комнату, успокаивая испуганных женщин и сообщая о случившемся.

Час спустя я услышал дьявольский шум в лагере грабителей. Слышались крики, плач и пистолетные выстрелы. Как мы догадались, эта борьба произошла из-за попытки здоровых избавиться от больных. Так или иначе, несколько зараженных грабителей, спасаясь, пересекли пустырь и подбежали к нашим дверям. Мы пытались прогнать их, но они с проклятиями открыли огонь из своих пистолетов. Профессор Мерриунтер, стоявший возле окна, был убит наповал пулей, попавшей ему между глаз. Тогда мы открыли ответный огонь, и все грабители удрали. Остались только трое – из них

одна женщина. На них уже лежала печать чумы, и они были бесстрашны. Словно исчадия ада, под пылающим небом и с багровыми лицами они продолжали, проклиная, в нас стрелять. Одного из них я убил своей собственной рукой. А вслед за этим женщина и мужчина с проклятиями упали под нашим окном, и мы видели, как они умирали от чумы.

Положение было критическим. Взрыв пороховых складов выбил все окна химического корпуса, и больше мы не были защищены от чумных бацилл. Призвали санитарный комитет, и он поступил геройски. Требовалось двое мужчин, чтобы выйти и убрать трупы. Но это было подвигом с их стороны, ибо, исполнив свою работу, они уж не могли возвращаться. Один из профессоров, холостяк, и один из ассистентов вызвались на это. Это были герои. Они отдавали свою жизнь для спасения четырехсот. Убрав трупы, они стояли и издали смотрели на нас. Потом, помахав рукой на прощание, повернулись и медленно пошли по пустырю к горящему городу. И однако жертва оказалась бесполезной. На следующее утро у одной из нас оказались признаки чумы, – это была девушка, присматривающая за детьми профессора Стоута. Прошло время слабостей и сентиментальностей. И в надежде, что она будет единственной, мы были вынуждены вывести девочку из дома и велели уйти прочь. Она медленно пошла по пустырю, ломая руки и горько плача. Мы знали, – это было жестоко, но что мы могли поделать? Нас было четыреста человек, и единицы должны были быть принесены

в жертву.

В одной из лабораторий жила целая семья, и в тот же день в их комнате обнаружили четыре трупа и семь заболевших.

Вот тогда-то ужас объял нас. Оставляя мертвых там, где они погибали, мы переводили больных в другие комнаты. Но чума уже появилась среди оставшихся; и как только показывались первые признаки, мы отсылали больных в эти комнаты – одних, боясь к ним прикоснуться. Сцены были душераздирающие. Чума овладевала нами. Все больше и больше комнат наполнялось мертвыми и умирающими. И мы – те, кто были еще здоровы, – отступали все дальше и дальше, пока это море смерти не залило всего здания – комнату за комнатой. Дом обратился в склеп. В полночь здоровые бежали, взяв с собой одежду и запас еды. Мы расположились на другом конце пустыря, противоположном тому, где были грабители. Часть стояла на страже, остальные же пошли на поиски каких-нибудь перевозочных средств.

Я был один из этих разведчиков. Доктор Хойль, вспомнив про свой автомобиль, оставленный в его гараже, направил меня к его дому. Мы отправились парами, и со мной пошел Домби, молодой ассистент. Чтобы попасть к дому доктора Хойля, нам пришлось пройти с полмили за городом. Здесь были особняки, стоявшие среди полян и окруженные деревьями. Бушевавший огонь пожирал все преграды на своем пути. И здесь работали грабители. Вытащив наши пистолеты, мы бесстрашно шли вперед, держа их наготове. Дом док-

тора Хойля был не тронут огнем, и только при нашем приближении к нему оттуда вырвались клубы дыма. Негодяй, поджегший его, шатаясь бродил возле дома. Он был совершенно пьян, и из его кармана торчала бутылка виски. Моим первым движением было убить его, и я никогда не прощу себе, что не сделал этого. Шатаясь и что-то бормоча, с налитыми кровью глазами и большим кровавым порезом на щеке — он был воплощением низости. Я не застрелил его, и он спрятался за дерево, чтобы пропустить нас. Когда мы проходили мимо, он внезапно вытащил пистолет и выстрелил в Домби. Это была такая подлость! В следующий момент я убил его. Но было слишком поздно. Домби упал без звука, без стога. Я сомневаюсь, успел ли он осознать, что произошло.

Оставив два трупа, я поспешил в пылающий дом, и в гараже я нашел автомобиль доктора Хойля. Резервуары были наполнены, и он был годен к употреблению. В этом автомобиле, проезжая разрушенный город, я возвращался к оставшимся на площади.

Вернулись другие разведчики, но ни одному так не повезло. Профессор Фермид нашел шотландского пони, но бедное животное, оставаясь привязанным в конюшне без пищи и воды, было до того слабо, что не могло нести на себе груза. Некоторые из нас были за оставление его здесь, но я настоял на том, чтобы взять его с собой, ибо в случае голода мы смогли бы употребить его в пищу.

Нас было сорок семь человек, когда мы двинулись в путь:

из них много женщин и детей. Ректор университета, пожилой человек, совсем разбитый этой катастрофой, поехал в автомобиле с детьми и престарелой матерью профессора Фермида. Уатоп, молодой английский профессор, с тяжелой раной на ноге, поехал в коляске. Все остальные пошли пешком, профессор Фермид вел пони.

Дым мирового пожара затмил сияющее небо, и солнце тускло светило темным безжизненным шаром, кроваво-красным и зловещим. Но мы привыкли к этому красному солнцу. Дым отравлял дыхание, и глаза наливались кровью. Мы направились на юго-восток, через бесконечные окрестности города, где возвышались первые за городской равниной холмы. Только таким путем мы могли достичь какой-нибудь деревни.

Мы подвигались мучительно медленно. Женщины и дети не могли идти быстро. Им и не снилось о тех переходах, какие мы совершаем теперь, дети мои. Да, никто из нас не знал, что такое ходьба. Только после чумы я научился ходить по-настоящему. Медленная походка одного задерживала всех остальных, ибо мы не хотели разделяться из боязни разбойников. Теперь эти человеческие хищники попадались реже. Чума значительно уменьшила их число, но все же оставалось достаточно, чтобы быть для нас постоянной угрозой. Множество прекрасных построек было еще не тронуто огнем, но всюду виднелись дымящиеся развалины. Грабители поджигали все.

Некоторые из нас пошли искать в частных гаражах оставленные автомобили и бензин. Но в этом нам не везло. Во время первого великого бегства из городов было захвачено с собой все. Колган, красивый молодой человек, больше не возвратился из этих поисков. Он был убит грабителями, проходя по дороге. Это был единственный случай, хотя однажды какой-то пьяный негодяй стал в нас стрелять. К счастью, он стрелял почти не целясь, и мы уложили его прежде, чем он нанес нам какой-либо вред.

В Фрютвэле, в самой богатой части города, чума снова появилась среди нас. Жертвой был профессор Фермид. Сделав нам знаки, чтобы мы не пугали его мать, он свернул с дороги к крыльцу одного роскошного дворца. Он сел, покинутый, на ступени веранды, и я, замедлив шаги, махнул ему на прощание. В эту ночь, в нескольких милях за Фрютвэлем, мы расположились на ночлег. И в течение этой ночи нам пришлось дважды сниматься со стоянки, покидая мертвых. Наутро нас было тридцать. Я никогда не забуду нашего ректора. Утром у его жены обнаружили симптомы, и когда она отошла в сторону, чтобы нас пропустить, он вышел из автомобиля и остался с ней. Мы пытались удержать его, но в результате нам пришлось уступить. В конце концов, ведь мы не знали, кто из нас спасется.

В эту ночь – вторую – мы расположились за Гэйуардом, в первой встречной деревне. Наутро нас было одиннадцать. Ночью Уатоп, профессор с раненой ногой, покинул нас в ав-

томобиле. С ним остались его мать и сестра с большим запасом провизии. В этот день, к вечеру, отдыхая в стороне от дороги, я видел последний дирижабль. Здесь, за городом, дым рассеялся, и я первый заметил его беспомощно барахтающимся в воздухе на высоте в две тысячи футов. Что случилось, я не знал, но мы видели, как он опускался все ниже и ниже. Потом, как видно, взорвался газ, и он, словно гиря, упал на землю. С тех пор до сегодняшнего дня я не видел больше воздушных кораблей. В течение нескольких лет часто, очень часто я осматривал небо в слабой надежде, что, быть может, где-нибудь в мире уцелела цивилизация. Но этого не было. То, что случилось с нами в Калифорнии, произошло всюду, со всеми.

Еще один день – и в Пайльзе осталось трое. За Пайльзом, по верхней дороге, мы нашли Уатопа. Автомобиль был брошен, а на одеяле, разостланном на земле, лежали три трупа – его матери, сестры и его самого.

Усталый от бесполезной ходьбы, я спал тяжело в эту ночь. Утром я был один во всем мире. Конфильд и Парксон, мои последние спутники, умерли от Алой чумы.

Из четырехсот человек, скрывшихся в химическом корпусе, и из сорока семи, отправившихся в это последнее путешествие, я остался один – я и шотландский пони. Как это случилось – не знаю. Объяснений этому нет. Я не заболел чумой – вот и все. Я спасся. Я был просто один из нескольких счастливых, уцелевших из многих и многих миллионов.

Глава пятая

Два дня я скрывался в прелестных рощицах, где не было смерти. В эти два дня, не переставая все же ждать, что придет и мой черед, я отдохнул и оправился. И на третий день, нагрузив пони остатками провизии, я двинулся через опустошенную страну. Ни одного живого человека не встретил я. Смерть была всюду. Но страна не была такой, как сейчас. В то время земля была возделана, принося пищу миллионам людей, и все это пропадало даром. В полях и фруктовых садах я собирал овощи, фрукты и ягоды. Возле пустых ферм ловил цыплят и разыскивал яйца. Часто в кладовых я находил оставшуюся провизию.

Нечто странное произошло с домашними животными. Они одичали и набрасывались друг на друга. Утки и куры были первыми истреблены, а свиньи и кошки одичали раньше других. Собакам тоже понадобилось немного времени, чтобы примениться к новым условиям. По ночам они лаяли и выли, раздирая трупы, а днем разбегались, подозрительные и воинственные. По мере того как время шло, я замечал в них перемену. Сначала они бегали поодиночке, недоверчивые и всегда готовые вступить в бой. Вскоре они стали собираться в стаи. Собаки, вы знаете, были всегда животными социальными, еще прежде их приручения человеком. Перед чудой существовала масса различных пород собак: без шер-

сти, с длинной шерстью, больших, как горный лев, и маленьких, помещавшихся в их пасти. Мелкие породы и собаки более слабые были истреблены сильнейшими, а самые крупные также не были приспособлены к новым условиям и вырождались. В результате остались только стаи собак, похожих на волков, – собак, каких вы знаете и в настоящее время.

– Но ведь кошки не бегают стаями, Грэнсэр, – заметил Хоу-Хоу.

– Кошки никогда не были социальными животными. Кошка живет сама по себе, – как сказал один писатель в девятнадцатом веке. Она всегда жила одна, еще до приручения; так живет и сейчас, когда опять одичала.

Лучшие породы лошадей выродились в маленьких мустангов, которых вы знаете. Коровы, овцы и голуби тоже одичали. А то, что куры выжили, вы знаете и сами. Но они мало похожи на тех, какие были в те дни.

Но я продолжаю свой рассказ. Я шел по пустынной земле, чем дальше, тем больше тоскуя по какому-нибудь человеческому существу. Но я не находил никого и чувствовал себя все более и более одиноким. Я прошел Ливерморскую долину, горы, ее пересекающие, и великую равнину Сан-Хоакин. Вы ее никогда не видели; она очень велика, и на ней пасутся дикие лошади. Там громадные табуны в десятки тысяч. Я снова побывал там тридцать лет спустя и поэтому знаю. Дикие лошади здесь, на прибрежной равнине, мало похожи на тех лошадей. Странно, но коровы, одичав, вернулись обрат-

но к холмам; очевидно, там им удобней защищаться.

В деревне, по-видимому, разбойников было меньше, и встречалось множество поселков, не тронутых огнем. Но все они были переполнены трупами, и я, проходя мимо, не заходил туда. Возле Латропа я нашел двух овчарок, еще не совсем одичавших, и они стали мне верными товарищами; их потомков вы знаете хорошо. Но за шестьдесят лет овчарки тоже выродились и теперь больше напоминают прирученных волков.

Заячья Губа встал и посмотрел на солнце, стоящее уже низко, выказывая явное нетерпение по поводу пространного рассказа старика. Подгоняемый Эдвином, Грэнсэр продолжал:

– Теперь уже мало осталось рассказывать. С моими двумя собаками, пони и пойманной верховой лошастью я прошел Сан-Хоакин и подошел к прекрасной Сиеррской долине, называемой Иозмайт. Тут были обильные пастбища, множество дичи, и река, протекавшая через долину, была полна форелью. В большом отеле я нашел громадный запас провизии. Я оставался здесь три года в полном одиночестве, и только культурный человек может понять меня. Но дольше я не смог оставаться, чувствуя, что не выдержу. Как и собака, я был социальным животным и нуждался в себе подобных. Я думал, – быть может, так же, как и я, спаслись и другие. Кроме того, после трех лет бациллы исчезли, и страна обезврежена.

Со своими собаками, лошадей и пони я двинулся в путь. Снова я прошел долину Сан-Хоакина, горы и спустился в долину Ливермор. За эти три года произошла удивительная перемена. Землю, так прекрасно обработанную, теперь я едва узнал; возделанные поля заросли дикими растениями. Вы понимаете, за пшеницей, овощами и фруктовыми деревьями ухаживал человек; сорные травы и дикие заросли всегда уничтожались. В результате, когда человеческая рука исчезла, дикие растения истребили и заглушили всю возделанную растительность; хищники размножились.

Было это возле Темескальского озера, недалеко от Окленда, где я нашел первое человеческое существо. О, мои внуки, как описать вам мое чувство, когда, спускаясь верхом на лошади с холма, я увидел дым костра, пробивающийся сквозь деревья! Сердце перестало биться. Я почувствовал слабость. Потом я услышал детский крик – крик ребенка! Собаки залаяли, а мои им отвечали. Я не надеялся, что еще хоть одно человеческое существо осталось на свете. Но сомнений быть не могло – дым и крик ребенка.

Перед моими глазами, не более чем за сотню ярдов от меня, у озера, появился крупный человек. Стоя на выступе скалы, он ловил рыбу. Я пришел в исступление. Остановив лошадь, я пытался крикнуть – и не мог. Мне казалось, человек видит меня, но он не ответил на мои знаки рукой. Потом я опустил голову на руки, тут же, в седле. Я боялся снова взглянуть, ибо думал, – это галлюцинация; я знал – если я

посмотрю, человек исчезнет. И галлюцинация эта была так прекрасна, что я хотел продлить ее еще немного.

Так я оставался, пока не услышал рычание моих собак и человеческий голос. Как вы думаете, что он говорил? Я скажу вам. Он проговорил: «Из какой преисподней явились вы сюда?»

Это были его слова, точные слова. Это были слова твоего второго деда, Заячья Губа, приветствовавшего меня на берегу Темескальского озера пятьдесят семь лет тому назад. И это были самые прекрасные слова, какие я когда-либо слышал. Я открыл глаза, и он стоял передо мной – большой, темный, волосатый человек, с сильными скулами, крутыми бровями и жестокими глазами. Как я сошел с лошади, – не знаю. Но кажется, вслед за этим я, рыдая, схватил его руку. Я хотел обнять его, но он всегда был ограниченный, подозрительный человек и отстранился от меня. И я повис, плача, на его руке.

Голос Грэнсэра задрожал и прервался, и бессильные слезы потекли по его щекам; мальчики смотрели на него ухмыляясь.

– Я плакал, – продолжал он, – и хотел обнять его, хотя Шофер был дикарем, настоящим дикарем, – самый гнусный человек, какого я когда-либо знал. Его звали... странно, я забыл его имя. Все называли его Шофером – это было название его профессии, и оно к нему привилось. И потому его род называется Шоферовым.

Он был жестокий, несправедливый человек. Я никогда не

пойму, почему чума пощадила его. Казалось бы, несмотря на наше старое метафизическое понятие об абсолютной справедливости, – справедливости не было во всей вселенной. Почему он жил – этот нравственный урод, жестокий негодяй? Он мог говорить только о своих автомобилях и гаражах – и с особым восторгом – о своих подлых мошеннических проделках с людьми, бывшими его хозяевами до чумы. И он продолжал жить, в то время как погибли сотни миллионов, даже миллиардов лучших людей.

Я пошел за ним в его палатку, и здесь я увидел ее, Весту, единственную женщину. Это было прекрасно и... ужасно. Здесь была она, Веста, Ван-Варден, молодая жена Джона Ван-Вардена. В лохмотьях, с разодранными мозолистыми руками, она поддерживала костер и исполняла всю черную работу – она, Веста, рожденная в роскоши крупнейшего богатства, какое знал весь мир. Джон Ван-Варден, ее муж и председатель Совета промышленных магнатов, был правителем Америки. Сидя в Промышленном контрольном совете, он правил всем миром. И сама она происходила из такого же знатного рода. Ее отец, Филипп Сэксон, был председателем Совета промышленных магнатов до самой своей смерти. Этот пост должен был стать наследственным, и если бы Филипп Сэксон имел сына, тот унаследовал бы его. Но его единственным ребенком была Веста. Еще до помолвки Весты с Ван-Варденом Сэксон назначил его своим наследником. Я уверен, – это был политический брак. У меня есть

основания думать, что Веста никогда не любила мужа той страстной любовью, какую воспевают поэты. Это был один из тех браков, какие были приняты среди таких, как они.

И здесь была она, с прекрасными глазами, воспаленными от едкого дыма, варя уху в закопченном горшке. Ее история была ужасна. Она одна уцелела из миллиона, как я или Шофер. На вершине Аламеда, возвышавшейся над Сан-Франциско, Ван-Варден построил громадный летний дворец. Он был окружен парком в тысячу акров. Когда появилась чума, Ван-Варден отослал ее туда. Вооруженная стража охраняла границы парка, и никто не смел туда проникнуть. Но чума проникла и во дворец, убивая стражу на своем посту, слуг за их работой, сметая всех оставшихся здесь. И Веста осталась одна в своем дворце, обратившемся в человеческий склеп.

Шофер был одним из убежавших слуг. Вернувшись через два месяца, он нашел ее в маленьком летнем павильоне, где не было смерти. Это был зверь. Она испугалась его и убежала, прячась в чаще деревьев. В эту ночь она бежала в горы. Он преследовал ее и той же ночью поймал. Он бил ее. Вы понимаете? Он бил ее своими страшными кулаками и сделал ее своей рабой. И она собирала хворост для костра, разводила огонь, стряпала и делала всю черную работу. Он заставил ее делать это, в то время как сам, настоящий дикарь, лежал возле палатки. Он ничего не делал – абсолютно ничего, кроме случайной охоты или ловли рыбы.

– Молодец Шофер, – одобрил Заячья Губа, обращаясь

вполголоса к мальчикам. – Я помню его незадолго перед его смертью. Он был вралем. Но он такие делал дела. Вы знаете, отец женился на его дочери, и вы бы поглядели, как он выбивал дурь из отца. Нас он всегда лупил розгой. Даже умирая, он бил меня по голове длинной палкой, которую всегда носил с собой.

Заячья Губа при этом воспоминании потер свою круглую голову. Мальчики снова обратились к старику.

– ...Билл – вот оно; Билл Шофер. Это было его имя. Заметьте, попав в руки Шофера, она опускалась все ниже и ниже. Только после гибели всего человечества стало возможным, что я знал ее, смотрел ей в глаза, прикасался к ее руке – и эх... любил ее, зная, что и она чувствует ко мне симпатию. У меня были основания думать, что она, даже она полюбила бы меня, когда на свете не осталось никого, кроме Шофера. Почему, истребив восемь миллиардов человек, чума пощадила только одного?

Однажды, когда Шофер ушел на рыбную ловлю, она умоляла меня убить его. Со слезами на глазах она умоляла убить его. Но он был силен и жесток, и я не дерзнул. После этого я говорил с ним. Я предложил ему мою лошадь, пони, моих собак, все мое достояние, если он отдаст мне Весту. Но он рассмеялся мне в лицо и покачал головой. Он был очень оскорблен и прибавил – заметь он только, что я переглядываюсь с его женой, – и он свернет мне шею, а ей хорошо достанется. Что я мог сделать? Я не решался. Он был зверем.

В первую ночь нашей встречи Веста и я вспоминали исчезнувший мир. Мы говорили об искусстве, книгах, поэзии. А Шофер слушал и ухмылялся и наконец сказал: «Эй, ты, женщина, сними-ка мои мокасины, да живо, я хочу, чтобы профессор Смит поглядел, как ты у меня вышколена!»

Я видел ее стиснутые зубы и краску возмущения, бросившуюся в лицо. Он сжал кулак для удара, и у меня сжалось сердце. Я ничем не мог помочь ей. И я встал, чтобы не быть свидетелем нового унижения. Но Шофер засмеялся и пригрозил мне, если я уйду. И я сидел там, у костра, на берегу Темескальского озера и видел Весту – Весту Ван-Варден, на коленях снимавшую мокасины с этого гримасничающего волосатого человека-зверя.

...О, вы не понимаете, внуки мои. Вы ведь ничего не знаете и не можете этого понять.

«Halter broke and bridle – wise³, – таращил глаза Шофер, в то время как она кончала свою ужасную унижительную работу. – Шутка неудачна иногда, профессор, шутка неудачна; но хорошая пощечина делает ее кроткой, как овечку!»

В другой раз он сказал: «Ну, нам надо начинать сначала: плодиться и наполнять землю. Вы остались за бортом. У вас нет жены, профессор, и мы в таком же положении, как в саду Эдема. Но я не горжусь. Я вам кое-что скажу, профессор». Он взял своего маленького годовалого ребенка. «Вот ваша

³ Точно – непереводимо (игра слов). По смыслу: «Поработала – теперь можешь и погулять, умница».

жена, хотя вам придется подождать, пока она подрастет. Это здорово, не правда ли? Мы все здесь равны, а я сильнейшая жаба в болоте. Но я вовсе не заносчив. Я делаю вам честь, профессор Смит, очень большую честь помолвкой моей дочери – моей и Весты Ван-Варден. Не правда ли жаль, что Ван-Варден не может видеть этого?»

Глава шестая

Я жил три недели в бесконечных мучениях, там, в палатке Шофера. И наконец, однажды, – или я ему надоел, или он боялся моего влияния на Весту – он сказал мне, что в прошлом году, бродя по холмам Контра-Коста к проливам Каркинец, он видел дым. Значит, остались еще другие человеческие существа на земле, а он скрывал от меня целых три недели это бесценное сведение. И я двинулся в путь со своими собаками и лошадьми через Контра-Коста к проливам. Я не увидел дыма на другой стороне, но в порту Коста нашел маленькую стальную баржу, на которую погрузил животных. Найдя кусок старого холста, я соорудил из него парус, и южный ветер погнал меня по проливу к развалинам Валаеджо. Здесь, на окраине города, я нашел следы недавнего поселения. По двустворчатым пустым раковинам я понял, почему люди пришли на берег залива. Это было племя Санта-Розана, и я догнал их по следу вдоль старой железной дороги через солончаки к долине Сонома. Здесь, возле кирпичного завода в Тлэн-Эллен, я подошел к стоянке. Их было восемнадцать человек. Два старика, один из них Джонс, банкир. Другой – Гаррисон, бывший ростовщик, взявший в жены служащую у умалишенных в Напе. Из всех городов и деревень этой населенной долины она одна осталась в живых. Кроме них, здесь было трое молодых людей – Кардиф

и Гэль, фермеры, и Уайт, чернорабочий. Все трое нашли себе жен. Блю, суровому невежественному фермеру, досталась Айседора – наиболее уважаемая женщина из оставшихся после чумы. Она была знаменитой мировой певицей, и чума застала ее в Сан-Франциско. Она долго рассказывала мне о своих приключениях, пока наконец ее не спас Гэль в Мендоцинском лесу. Ей ничего не оставалось делать, как стать его женой. Но Гэль был хороший парень, несмотря на свое невежество. В нем было развито чувство справедливости, и она с ним была куда счастливей, чем Веста с Шофером.

Жены Кардифа и Уайта были обыкновенные женщины, привыкшие к работе, с сильным телосложением – приспособившиеся к новой дикой жизни, какую им приходилось вести. Кроме них, здесь было еще двое идиотов из Эльдеренского сумасшедшего дома и пять или шесть маленьких ребят, рожденных после того, как уже было положено начало роду Санта-Розана. Здесь была также Берта. Она была хорошая женщина, Заячья Губа, несмотря на зубоскальство твоего отца. Ее я взял себе в жены. Она была матерью твоего отца, Эдвин, и твоего, Хоу-Хоу. И наша дочь, Вера, вышла замуж за твоего отца, Заячья Губа, – твоего отца, Сандо, старшего сына Весты Ван-Варден и Шофера.

И так случилось, что я стал девятнадцатым членом рода Санта-Розана. После меня прибавилось еще только двое. Один из них – Мюнджерсон, потомок промышленных магнатов; он блуждал в лесах Северной Калифорнии целых во-

семь лет, прежде чем присоединиться к нам. Это был муж моей дочери Мери. И он ждал ее двенадцать лет. Другой – Джонсон – человек, положивший начало роду Ута. Это было название деревни, откуда он пришел, лежащей очень далеко к югу. Спустя двадцать семь лет после чумы Джонсон достиг Калифорнии. Из всей области Ута спаслись только трое, и он в этом числе. Много лет эти трое жили и охотились вместе, но потом, опасаясь, что вместе с ними исчезнет человеческий род с лица земли, они направились к востоку, надеясь в Калифорнии найти спасшуюся женщину. Джонсон один прошел через огромную пустыню, где погибли его товарищи. Ему было сорок шесть лет, когда он присоединился к нам и женился на четвертой дочери Айседоры и Гэля; а их старший сын женился на твоей тетке, Заячья Губа, третьей дочери Весты и Шофера. Джонсон был суровый человек с сильной волей. Он отделился от Санта-Розана и в Сан-Хозе стал родоначальником Ута. Это маленький род – всего только девять человек. Но хотя Джонсон и умер, личные качества его были таковы, что этот род играет важнейшую роль в развитии новой культуры на нашей планете.

Мы знаем только еще два рода – Лос-Анджелито и Кармелито. Основателя последнего звали Лопец; он произошел от древних мексиканцев и был совершенно смуглый. Был он пастухом, а его жена служила горничной в большом дельмонтском отеле. Только через семь лет мы наткнулись на Лос-Анджелито. У них хорошая деревня, тут поблизости,

но здесь слишком жарко. Я исчисляю теперешнее население всего мира в триста пятьдесят – четыреста человек. Быть может, существуют еще где-нибудь люди, но мы о них ничего не знаем. С тех пор как Джонсон пришел из Уты, мы не имели больше ниоткуда вестей. Великий мир, какой я знал в дни своего детства и юношества, прекратил свое существование. Я единственный человек, знающий чудеса прошлого. Мы, создавшие нашу планету, – сушу, моря и небо, – бывшие господами жизни, живем теперь первобытными варварами вдоль Калифорнийского залива.

Но мы быстро размножаемся – у твоей сестры, Заячья Губа, уже четверо детей. Мы быстро размножаемся и уже начинаем медленно ползти к цивилизации. Когда нам станет тесно жить, и это заставит нас распространяться все дальше и дальше, и поколение за поколением медленно растечется по всему континенту к востоку, – новые арийцы заполнят мир.

Но это будет медленно, очень медленно; нам ведь еще так далеко карабкаться. Мы упали так безнадежно низко. Если бы только хоть один физик или химик остался в живых! Но этого нет, и мы все позабыли. Шофер продолжал работать железом. Он сделал кузницу, которая служит нам и теперь. Но он был большой лентяй, и все, что он знал о металлах и инструментах, – унес с собой в могилу. А что я могу знать о таких вещах? Я был чисто кабинетный ученый, не химик. Остальные спасшиеся – совсем темные люди. Только два дела делал Шофер – варил крепкие напитки и взращивал та-

бак. Пьяным он и убил Весту. Я знаю наверно, что он убил Весту в припадке пьяного безумия, хотя он всегда утверждал, что она утонула в озере.

Я хочу вас предостеречь, внуки мои, от врачей. Они называют себя докторами, подражая когда-то благородной профессии.

На самом деле эти люди – плуты, знахари, шарлатаны, вселяющие суеверие. Скоро они станут властвовать над нами. Мы так унижены, что верим лжи этих шарлатанов. Посмотрите на молодого Косоглазого; он продает талисманы против болезней, талисманы, приносящие удачную охоту и ясную погоду, изготавливает смертельный пластырь и совершает тысячи мерзостей. Но я говорю вам – он лжет. Я, профессор Смит, профессор Джемс Говард Смит, говорю, что он лжет. Я сказал ему это в глаза. Почему он не посылает мне смертельного пластыря? Потому что это не принесет ему никакой выгоды. А ты, Заячья Губа, ты так глубоко погряз в темном суеверии, что, проснувшись ночью и увидя на своем боку пластырь, – ты бы действительно умер. И ты умер бы не из-за пластыря, а потому, что ты дикарь с затемненным разумом варвара.

Доктора должны быть уничтожены, и все, что мы потеряли, снова должно быть открыто. И для этого я настойчиво повторяю вещи, какие вы должны запомнить и передать своему потомству. Вы должны им рассказать, что вода, подогретая на огне, превращается в нечто, называемое паром; этот

пар сильней десяти тысяч человек и может совершать разную работу для человека. Кроме того, есть еще другие полезные вещи. Молния – также сильный помощник человека, давно уже она была его рабом и в будущем должна стать рабом снова.

Совсем другое дело алфавит. Благодаря ему я могу узнавать мельчайшие знаки, тогда как вы, мальчики, знаете только грубые картинки. В сухой пещере на Телеграфном холме, где вы часто заставляли меня, когда остальные уходили к морю, – я сохранил множество книг. В них большая мудрость. С ними я спрятал ключ к алфавиту, и тот, кто знает картинки, сможет прочесть и напечатанное. Когда-нибудь люди начнут читать; и тогда, если ничего не случится с моей пещерой, они узнают, что профессор Джеймс Говард Смит, живший когда-то, сохранил для них мудрость былых времен.

Есть еще одно изобретение, которое люди непременно найдут. Оно называется порохом. Это то, что убивает наверняка и на далеком расстоянии. Этот порох делается из некоторых веществ, находящихся в земле. Что это за вещества, я забыл или, может быть, никогда и не знал. Но я хотел бы знать. Тогда бы я сделал порох и убил бы Косоглазого, очистив землю от суеверия...

– Когда я вырасту, я отдам Косоглазому всех коз, мясо и кожи, какие только добуду, чтобы научиться быть доктором, – заявил Хоу-Хоу. – И когда я научусь, я буду учить других. И попомните – они будут добиваться этого!

Старик торжественно покачал головой и проговорил:

– Странно слышать что-то напоминающее сложную английскую речь из уст маленького грязного дикаря. Весь мир перевернулся вверх дном. Все пошло вверх дном с приходом чумы.

– Ты не хочешь меня учить, – обратился Заячья Губа к тому, кто обещал сделаться лекарем. – Если я заплачу тебе за смертельный пластырь, а он не подействует, я проломлю тебе голову – понимаешь, Хоу-Хоу, а?

– Я постараюсь помочь Грэнсэру вспомнить, из чего делается порох, – сказал тихо Эдвин. – И тогда я всех заставлю помогать. Ты, Заячья Губа, будешь охотиться для меня, а ты, Хоу-Хоу, будешь устрашать всех смертельным пластырем. И если я увижу, что Заячья Губа хочет пробить тебе голову, я убью его этим порохом. Грэнсэр вовсе не такой дурак, как вы думаете; я буду слушаться его и скоро стану хозяином всего побережья.

Старик грустно покачал головой и сказал:

– Порох появится. Ничто не останавливается – старая история повторится снова и снова. Люди будут размножаться и будут убивать друг друга. Порох поможет убивать миллионы людей, и только таким путем – через огонь и кровь – когда-нибудь разовьется новая цивилизация. А какой смысл всего этого? Так же как и старая, пройдет и новая цивилизация. Быть может, она будет развиваться пятьдесят тысяч лет, но она пройдет. Все проходит. Остается лишь непрерыв-

но движущаяся космическая сила и материя, неизменно повторяющая вечные образы – жреца, воина и короля. Устами младенца глаголет истина. Кто будет воевать, кто – править, кто – молиться. А остальные будут работать и терпеливо страдать, и на их кровавых останках будет воздвигаться цивилизация со всеми ее чудесами. Мои книги можно уничтожить; останутся они или нет – все равно снова вскроется вся их старая истина и старая ложь. Какой смысл...

Заячья Губа быстро вскочил и посмотрел на пасущихся коз и заходящее солнце.

– Ну, замолол... – проворчал он Эдвину. – Старый гусак становится разговорчивей с каждым днем. Надо двигать к поселку.

Двое мальчиков, созвав коз, погнали их по тропинкам в лес, а Эдвин остался со стариком и повел его по дороге. Выйдя на старую большую дорогу, Эдвин внезапно остановился и обернулся назад. Заячья Губа и Хоу-Хоу с козами и собаками уже прошли. Эдвин смотрел на диких лошадей, спускавшихся с песчаного берега. Их было приблизительно штук двадцать – маленьких жеребят и кобыл, предводительствуемых великолепным жеребцом. Он стоял в пене поднявшегося прибоя, с гибкой шеей и светлыми пугливыми глазами, вдыхая соленый воздух моря.

– Что там? – спросил Грэнсэр.

– Лошади, – был ответ. – Я впервые вижу их на берегу. Горных львов становится все больше и больше, и они скры-

лись сюда.

На краю горизонта заходящее солнце бросало последние красные лучи сквозь темные облака. И в белых водах прибрежья нерпы подняли снова возню, воюя и играя на черных утесах моря.

– Идем, Грэнсэр, – проговорил Эдвин.

И старик с мальчиком – одичалые, одетые в шкуры, – повернулись и пошли вдоль дороги в лес, по следам коз.